





Петер Каменцинд



*Фрицу и Алисе Лейтхольд посвящается*

Вначале был миф. Бог, в своем стремлении к самовыражению стихословивший некогда в душах индийцев, греков, германцев, и поныне ежедневно и ежечасно наполняет душу каждого ребенка поэзией.

Я не знал еще, как называется озеро, как называются горы и ручьи моей родины. Но я видел лазоревую озерную гладь, вышитую золотом крохотных солнечных зайчиков, и обступившие ее плотным кольцом крутые горы, и сверкающие снежные зазубрины на их скалистых боках у самых вершин, и крохотные водопады, а у подножия гор веселые покатые луга, усеянные фруктовыми деревьями, хижинами и серыми альпийскими коровами. И так как бедная, маленькая душа моя, объятая ожиданием, была пуста и безмолвна, озерные и горные духи начертали на ней свои прекрасные, великие деяния. Навеки застывшие гребни и кручи повествовали упрямо и благоговейно о далекой эпохе, их породившей и не поскупившейся для них на суровые отметины-шрамы. Они поведали мне о том, как вздувалось и лопалось измученное чрево земли, со стоном и родовой дрожью выталкивая из недр хребты и вершины. Могучие скалы с ревом и грохотом теснились, опережая друг друга, роняли вершушки, ломались на полпути, и горы-близнецы в жестоких схватках друг с другом боролись за место под солнцем, пока одна не побеждала другую, оттеснив ее в сторону и повергнув ее в прах. С тех времен так и застряли там и сям, повиснув высоко в ущельях, отло-

манные вершины, отброшенные, расколотые скалы, и в каждую оттепель потоки талой воды низвергали огромные, величиной с дом глыбы и либо разбивали их вдребезги, как стекло, либо вгоняли, как гвозди, в мягкие альпийские луга.

Они всегда говорили одно и то же, эти скалистые горы. И понимать их было нетрудно, глядя на их крутые бока, изломанные, пласт за пластом, помятые, растрескавшиеся, покрытые зияющими ранами. «Мы пережили страшные муки, — говорили они. — И страдания наши еще не кончились». Но они говорили это гордо, с ожесточенным выражением на суровом челе, словно старые воины, живущие в обнимку со смертью.

Да-да, именно воины. Я видел, как они боролись с водой и ветром жуткими предвесенними ночами, когда злобный фён с ревом обрушивался на их древние главы, а бурные потоки вырывали свежие куски мяса из их боков. В такие ночи они стояли с затаенным дыханием, набычившись и упрямо расставив корни, угрюмые, озлобленные, и отражали удар за ударом рогами и растрескавшимися, обветренными боками, собрав воедино все силы. И в ответ на каждую нанесенную рану они издавали глухое, леденящее душу рычание, в котором слышны были страх и ненависть, а ужасным стонам их вторили гневным, надломленным эхом даже самые отдаленные бурливые водопады.

Я видел горные луга и склоны и островки земли в раселинах, пестреющие травами, цветами, мхами и папоротниками, которые древняя народная мудрость наделила диковинными, вещими именами. Дети и внуки гор, они жили своей пестрой, беззлобной жизнью, каждый на своем месте. Я осызал их, любовался ими, вдыхал их ароматы и учился называть их по именам. Сильнее и глубже поражали меня деревья. Каждое из них вело свою особую жизнь, обладало своей особой статью и неповторимой формой кроны, отбрасывало свою, лишь на него похожую тень. Они, эти борцы-отшельники, были сродни горам, ибо все они, в осо-

бенности те, что стояли ближе к вершинам, вели свою незаметную, но упорную войну за жизнь и рост — с ветрами, ненастьями и скудной каменистой почвой. Каждое из них несло свое бремя, каждое упрямо цеплялось за все, что придется, и от этого у каждого из них был свой собственный образ и свои особые раны. Я видел сосны, которым ветер позволил иметь ветви лишь с одной стороны; другие, подобно змеям, обвили своими красными стволами нависшие над кручами обломки скал, так что дерево и камень стали одно целое и помогали друг другу выстоять. Они смотрели на меня, словно грозные воители, внушая благоговейный страх и уважение.

Мужчины и женщины наши тоже были похожи на них: строгие, темноликие, неразговорчивые, а лучшие из них — и вовсе молчуны. Потому-то я и привык смотреть на людей как на деревья или скалы, задумываться о них и почитать их не меньше, а любить не больше, чем тихие сосны.

Деревушка наша Нимикон раскинулась на треугольном, зажато между двумя горными выступами косогоре на берегу озера. Одна дорога ведет в расположенный неподалеку монастырь, другая в соседнюю деревню, до которой четыре с половиной часа ходу; до остальных деревень можно добраться только по воде. Деревянные дома наши выстроены все в старом стиле, и возраст их не поддается определению: новых среди них почти нет, а старые домишки хозяева по мере нужды подправляют то с одного, то с другого боку, в этом году половицы, в следующем кусок кровли, а то и просто полбревна или планку, что когда-то была частью обшивки в горнице, а теперь пришла на смену какому-нибудь сгнившему стропилу под крышей; а отслужив свой срок и здесь, сгодится на что-нибудь в хлеву или на сеновале, прежде чем пойти на растопку, на худой конец украсит собой входную дверь. То же происходит и с их обитателями: каждый, как может, играет свою роль до конца, а затем медленно, словно нехотя, отступает назад, в круг ни на что

не годных зрителей, и вскоре тихо, незаметно погружается в вечную тьму. Те, кто после долгих лет, прожитых на чужбине, возвращается обратно, находят здесь все таким же, как оно было прежде, разве что пару состарившихся кровель заново перекрыли да пара других, поновее, состарилась; прежних старцев, правда, уж нет, на место их заступили другие старцы, живущие в тех же хижинах, носящие те же имена, пасущие ту же самую темноволосую ребятню и лицом и нравом почти не отличающиеся от почивших в Бозе.

Общине нашей не доставало прилива свежей крови и жизненных токов извне. Жители деревушки, народ хлопотливый и крепкий, почти все состоят друг с другом в родстве, и добрых три четверти из них носят имя Каменцинд. Именем этим исписаны многие страницы церковной книги и кладбищенские кресты, оно красуется на дверях домов, выведенное масляной краской или же грубо вырезанное ножом, на повозках, на ведрах в хлеву и на лодках. Над дверью моего отца тоже было написано: «Дом сей выстроен Йостом Каменциндом и женой его Франциской», однако же имелся в виду не отец мой, а прадед; и если мне суждено будет когда-нибудь умереть, не оставив потомства, то я знаю наверное, что старое гнездо наше не опустеет; другой Каменцинд заживет в нем, если, конечно, оно к тому времени еще пригодно будет для жилья.

Несмотря на кажущееся единообразие, здесь, как и всюду, имелись злые и добрые, знатные и безродные, влиятельные и убогие, а на каждого умного приходилось по паре восхитительных глупцов, не считая дурачков и юродивых. Община наша, как, впрочем, и любая другая, была маленьким, но правдивым слепком с человеческого общества, и так как большие и малые, хитрецы и дурни неразрывно связаны были друг с другом узами близкого или дальнего родства, то спесивая строгость и дурашливое легкомыслие часто наступали друг другу под одной и той же крышею на пятки, так что в жизни нашей оставалось

довольно места и для глубины, и для комизма человеческих отношений. Правда, над всем этим лежал вечный туман тщательно скрываемой или неосознанной подавленности. Зависимость от природных сил и скудость бытия, полного бесконечных трудов и забот, сообщили нашему и без того стареющему роду некоторую склонность к мрачному глубокомыслию, которое, хотя и подходило как нельзя лучше к грубым, словно высеченным из камня лицам, но не приносило никаких плодов, во всяком случае сладких. Потому-то все и рады были тем двум-трем шутам, которые, будучи людьми тихими и даже серьезными, все же приносили немного цвета в серые будни и частенько давали повод для веселья и насмешек. Когда кто-нибудь из них очередной проделкой вызывал новые пересуды и толки, по морщинистым, коричневым лицам неласковых сынов Нимикона пробегали радостные зарницы, а сама забава всегда была слобрена щепоткой тонкой фарисейской соли — отрадным сознанием собственного превосходства, тайным ликованием, мол, я-то, слава Богу, застрахован от таких дурачеств и ошибок. К этому множеству стоявших как раз посередине между праведниками и грешниками и завидовавших и тем и другим, принадлежал и мой отец. Всякое вновь затеваемое чудачество напрочь лишало его покоя, переполняя сердце его сладким трепетом, и он буквально разрывался между участливым восхищением зачинщиками и жирным сознанием собственной безупречности.

Одним из общепризнанных шутов был мой дядюшка Конрад, который, однако, по уму ничуть не уступал ни моему отцу, ни другим подвижникам благоразумия. Более того, он был даже хитер и к тому же одержим неумной жадной творчеством, которой вполне могли бы позавидовать его критики. Но, конечно же, ни одному из его предприятий не суждено было увенчаться успехом. То, что он, несмотря на неудачи, не вешал носа и не поддавался праздной тоске, а, напротив, затевал все новые и новые



дела, обнаруживая при этом до странности легкое чувство в отношении трагикомизма своих предприятий, было, без сомнения, положительною чертою, которую, однако же, считали нелепой чудаковатостью, позволяющей причислить его к бесплатным скоморохам общины. Отношение отца моего к нему выражалось в постоянной борьбе между восторгом и презрением. Каждый новый проект шурина он встречал с неописуемым волнением и любопытством, которые тщетно пытался скрывать под хитрой маской иронии и насмешек. Когда же дядюшка, устранив, как он полагал, последние препятствия на пути к успеху, важно задира л нос, отец всякий раз не выдерживал и присоединялся к своему гениальному родичу в расчетливой преданности; затем наступал неминуемый час позора, дядюшка равнодушно пожимал плечами, в то время как отец в гневе осыпал его издевками и оскорблениями, после чего месяцами не удаивал его даже взглядом.

Это Конраду наша деревушка обязана была зрелищем первого парусника, и главную роль в этом событии довелось сыграть отцовской лодке. Парус и снасти дядюшка мастерски изготовил по гравюрам из старого календаря, а то, что наш скромный челнок оказался слишком узким для парусника, — в конце концов, не дядюшкина вина. Приготовления длились несколько недель; отец мой сгорал от нетерпения, смелых надежд и страха, да и все остальные жители только и говорили о новой затее Конрада Каменцинда.

Это был для нас знаменательный день, когда лодка наконец ветренным августовским утром отправилась в свое первое плавание. Отец, томимый мрачным предчувствием близящейся катастрофы, отклонил предложение принять в нем участие и, к моему великому огорчению, запретил поездку и мне. Сын булочника Фюсли был единственным спутником творца-мореплавателя. Вся деревня собралась на вымощенной булыжником площадке перед нашим домом и посреди грядок огорода и наблюдала это невидан-

ное зрелище. На озере дул бойкий восточный ветер. Вначале Фюсли пришлось поработать веслами, пока бриз не подхватил лодку и она, гордо раздув парус, не помчалась прочь. Мы проводили ее восторженными взглядами до первого горного выступа, который скрыл ее от наших глаз, и, устыдившись своих ехидных задних мыслей, решили уже было чествовать молодчину Конрада как победителя. Но когда ночью лодка вернулась обратно, паруса на ней уже не было, и моряки наши больше похожи были на утопленников, чем на победителей, а сын булочника сказал сквозь кашель:

— Да, здорово вам не повезло! Еще бы чуть-чуть, и вы бы могли в воскресенье пировать сразу на двух поминках.

Отец потом выстругал две новые планки и заделал пробоину, и с тех пор над голубыми просторами нашего озера уже никогда более не реял ни один парус. Конраду земляки долго еще кричали всякий раз вслед, как только он куда-нибудь торопился:

— Эй, Конрад, что ж ты не поднимешь парус?

Отец мой с грехом пополам проглотил эту горькую пилюлю и долгое время, встречаясь со своим горемычным шурином, отворачивался в сторону и нарочито громко плевал в знак безграничного презрения. Так продолжалось до тех пор, пока Конрад не явился к нему в один прекрасный день со своим противопожарным проектом кухонной печи, принесшим изобретателю несмываемый позор и море насмешек, а отцу моему целых четыре талера чистого убытку. Горе было тому, кто осмеливался напомнить ему об этой истории выброшенных на ветер четырех талеров! Спустя много времени, когда в дом наш в очередной раз пришла нужда, мать проронила ненароком:

— Как пригодились бы сейчас те деньги, так не по-божески промотанные!

Отец побагровел от гнева, но кое-как сдержался и сказал в сердцах:

— Уж лучше бы я их пропил, сразу все в одно воскресенье!

На исходе каждой зимы в деревню врывается фён со своим низким разбойничьим посвистом, который альпийский горец всегда слушает со страхом и трепетом, а на чужбине вспоминает с тоской и иссушающей болью разлуки. Приближение фёна, которому почти всегда предшествуют прохладные встречные ветры, за много часов чувствуют люди и горы, дикие звери и скотина. Его возвещают теплые, низко гудящие струи воздуха. Сине-зеленое озеро мгновенно чернеет и покрывается белым каракулем торопливых пенных волн. Еще несколько минут назад безмятежно дремавшее, оно вдруг, как штормовое море, начинает злобно биться о берег. Весь ландшафт тем временем, пугливо съезжившись, становится виден как на ладони. На вершинах, обычно предающихся мрачным раздумьям в отрешенной дали, теперь можно без труда пересчитать отдельные скалы, а там, где обычно видны лишь коричневые пятна разбросанных по округе деревень, отчетливо проступают крыши, фасады и окна. Все сбивается в кучу, как испуганное стадо: горы, луга, дома. А потом поднимается устрашающий вой ветра, сопровождаемый содроганиями земли. Волны на озере встают на дыбы под ударами ветра и несутся по воздуху седыми клочьями водяной пыли, а вокруг, в особенности ночью, ни на минуту не смолкает отчаянная битва гор и бури. Вскоре деревни облетают известия о засыпанных ручьях, разрушенных хижинах, разбитых лодках и пропавших без вести мужьях и братьях.

В младенческие годы я боялся фёна и даже ненавидел его. Но позже вместе с отроческим буйством во мне пробудилась любовь к нему, возмутителю, вечно юному, дерзкому драчуну и глашатаю весны. Это были упоительные мгновения, когда он, хмельной от избытка молодых сил и надежд, начинал свой яростный бой, метался со стоном и хохотом среди гор, летел с диким воем по ущельям, пожирал снег и свирепо гнул в три погибели старые жилистые сосны,

не обращая внимания на их жалобные вздохи. Постепенно любовь эта становилась осознанней и глубже, и фён превратился для меня в символ пряного, волнующе прекрасного, сказочно богатого юга, неиссякаемого источника, дающего начало все новым и новым потокам любви, тепла и красоты, которые, разбившись о горные хребты, растекаются по равнинам прохладного севера, замедляют свой бег и медленно умирают. Нет ничего более странного и прекрасного, чем болезненно-сладостная альпийская лихорадка, хорошо знакомая горным жителям, в особенности женщинам, когда фён сеет бессонницу и щекочет возбужденные чувства. Это юг, сжигаемый страстью, вновь и вновь бурно бросается на грудь пуритански строгому, аскетическому северу и возвещает заснеженным альпийским лугам о том, что совсем близко, по берегам пурпурных озер Французской Швейцарии, уже снова зацвели примулы, нарциссы и миндаль.

Потом, как только фён отрубит в свой охотничий рог и просохнут последние лавины грязи, наступает самая дивная пора. Желтоватые, пестреющие цветами луга блаженно вытягиваются на крутых склонах, горы поднимают к небу свои сверкающие неземной чистотой снежные вершины и ледники, а озеро, как прежде голубое и теплое, вновь отражает солнце и полет облаков.

Все это вполне достойно того, чтобы стать содержанием целого детства, а то и всей жизни. Ибо все это громко и внятно глаголет на языке Бога, которым никогда не дано было овладеть человеку. Тому, кто внимал ему в детстве, уже никогда не забыть его могучее, сладостное и устрашающее звучание, не освободиться от его колдовской власти. Выросший среди гор человек может годами изучать философию или *historia naturalis* и сколько угодно доказывать, что никакого Господа Бога вовсе и нет, — но стоит ему только вновь почувствовать дыхание фёна или услышать, как трещит лес под тяжестью снежной лавины, как он тут же вспоминает о Боге и о смерти.